
ИЗЛЕЧИМА ЛИ БОЛЕЗНЬ ЭТНОЦЕНТРИЗМА? Из опыта изучения конструирования образов прошлого — ответ моим критикам

В.А. Шнирельман

Институт этнологии и антропологии РАН

Аннотация: *Статья посвящена проблеме влияния этнонациональных эмоций на деятельность историков. Автор исследует динамику конструирования образов прошлого, точки конфронтации между различными образами “предков”, связи между серьёзными политическими событиями и новыми витками “войн памяти”, сопровождающимися переписыванием истории.*

Ключевые слова: *мифологизация истории, социальная память, политика исторического знания, социальная история науки, войны памяти, этноидеология.*

Эпоха перестройки ознаменовалась небывалым всплеском альтернативной истории. Прежняя привычная схема исторического развития России оказалась ветхим сооружением, требующим либо капитального ремонта, либо полного сноса и замены зданием, построенным по совершенно новому проекту. Но вопрос о том, каким надлежало быть этому проекту, оказался настолько животрепещущим, что в оживленные дискуссии быстро втянулись массы участников, причем профессиональные ученые составляли лишь относительно малую и далеко не самую яркую их часть. Информационное пространство заполнили неофиты, смело бравшиеся за решение самых сложных исторических проблем. Предлагавшиеся ими версии прошлого отличались неожиданностью и новизной и неизменно встречали живой интерес у самой широкой публики. Профессионалы, приученные к осторожности и взвешенности своих суждений, были неспособны успешно конкурировать на этом поле; публике их построения казались безликими и лишенными увлекательности, и борьба за читательский интерес была ими безнадежно проиграна. Разумеется, в этом сказался определенный консерватизм многих профессионалов, неготовых к решительному отказу от прежних, казалось бы, устоявшихся представлений. Здесь сыграли роль целый ряд факторов – во-первых, пиетет научных учителей, во-вторых, привычка руководствоваться сигналами, исходящими от власти, в-третьих, трудности радикального отказа от философско-методологических догм, десятилетиями царствовавших в науке, и, наконец, тот факт, что выработка новых подходов и освоение новых ставших доступными источников требовали времени.

Феерический успех «альтернативных историков» был встречен в научной среде с настороженностью и тревогой, быстро перешедших во враждебность. Многие специалисты

старались просто не замечать их деятельности, воспринимая ее как «мусор», неизбежно появляющийся в поле масс-культуры. Помещая себя на недостижимую высоту, научные «мандарины» тешили себя образом «властителей дум» и не задумывались об опасности маргинализации в условиях господства всеобщего кича. У других ученых деятельность «альтернативщиков» вызывала открытую неприязнь, и они с возмущением набрасывались на них, обвиняя в «искажениях исторической истины», «беспределе в науке», «дилетантских подходах», «нехватке профессиональных знаний», «неумении обращаться с историческим материалом» и пр. Третьи отвечали едкой сатирой, пытаясь выставить своих нежелательных конкурентов в смешном или неприглядном виде. Однако от всего этого поток «альтернативной истории» нисколько не иссякал; напротив, ряды неопитов пополнялись все новыми именами. Они не только успешно оборонялись, но переходили в наступление, обвиняя профессионалов в сервильности, подобострастном обслуживании скомпрометировавшей себя власти или даже сотрудничестве с тайной полицией, а также слепом использовании отживших «колониальных» и «имперских» подходов.

Все это сигнализировало об обретении наукой нового качества – в условиях демократизации она становилась частью масс-культуры, что само по себе составляло проблему, достойную изучения. У этой проблемы имелся и особый ракурс, связанный с жадным поиском далеких предков, чем в годы перестройки активно занялись интеллектуальные элиты, представлявшие отдельные этнические группы. Именно тогда произошел первый безудержный выплеск «энергии памяти» (термин М. Н. Губогло), ранее ютившейся в темных закоулках и подворотнях андеграунда и контркультуры. Мне это тогда показалось интересным, ибо демонстрировало своеобразие культурного творчества в революционную эпоху в условиях ломки старого уклада и становления нового. Особенно захватывающими представлялись этнические конструкты, с одной стороны, отважно отвергавшие прежние академические догмы, но, с другой, слепо следовавшие устоявшимся академическим канонам в рамках сложившегося к тому времени поля исследований этногенеза. Что это за явление? Почему, мечтая о будущем, люди всеми силами устремлялись в прошлое, причем не в ближайшее, а в отдаленное, покрытое мраком забвения? Что они искали в этой седой старине, чего ожидали от нее? Почему столь высоким спросом стали вдруг пользоваться раннесредневековые или даже первобытные предки? Какие образы люди придавали таким предкам и какими качествами их наделяли, чего от них ожидали? Что означал этот возврат к «первоначалам»? Имеем ли мы здесь дело с «вечным возвращением», о котором, вслед за Ф. Ницше, писал М. Элиаде, и, если так, то как его надо понимать?

Все эти вопросы внезапно встали перед российской наукой именно в годы перестройки. Их важность ощутили многие специалисты, и некоторые из них занялись тогда изучением процесса «переписывания истории». Однако, во-первых, их интерес ограничивался недавней историей, охватывавшей лишь советские десятилетия, что было оправдано ставшими вдруг доступными многочисленными архивными материалами, позволявшими взглянуть на эту историю с неожиданной стороны, поражающей своей неприглядностью и жестокостью. Во-вторых, тогда многие специалисты концентрировали свое внимание лишь на тех ревизионистских версиях прошлого, которые создавались у них на глазах, как будто никакого «переписывания истории» не наблюдалось ранее. В-третьих, интерес вызывала прежде всего «большая политика», делавшаяся в центре и оказывавшая безусловное влияние на конструирование образов прошлого. На этом фоне этнополитический фактор многим казался маргинальным и не привлекал столь же пристального внимания.

Между тем, в стране нарастала межэтническая напряженность, кое-где перераставшая в серьезные этнополитические конфликты и даже кровавые войны. Выход из конфликтов и их предупреждение требовали понимания их причин и стоявших за ними проблем, что неизбежно

но приводило к фактору идеологии. И обнаруживалось, что такая идеология неизменно апеллировала к образам прошлого, создававшимся местными интеллектуалами. При этом, основываясь на одних и тех же исторических фактах и исходя из общих методологических установок, ученые из соседних республик приходили к разным, порой диаметрально противоположным, выводам относительно прошлого своего и соседних народов. Мало того, обнаруживалось, что конструирование образов прошлого, отклонявшихся от находившейся под жестким контролем ортодоксальной версии истории, началось задолго до перестройки и охватывало едва ли не всю советскую эпоху (правда, в этом различные этнические среды демонстрировали определенную вариативность). И та «альтернативная история», которая активно выстраивалась в регионах в переломные годы, опиралась на более ранние традиции, без анализа которых ее нельзя было ни понять, ни оценить. Тщательный анализ показывал, что еще в советские годы в отдельных республиках активно создавались и находили спрос «девиантные» версии прошлого, существенно отличавшиеся от официальных и существовавшие параллельно с ними.

Известно, что развитие науки определяется сложным сочетанием интерналистских и экстерналистских факторов. Но если внутренние факторы ее развития регулярно и успешно исследовались в рамках историографии, то с внешними факторами дело обстояло совершенно иначе. Ведь в советских условиях изучение последних было невозможно без обращения к особенностям государственной внутренней политики, а это блокировалось советской цензурой и оказывалось безнадежным делом. Отсюда устойчивое отвращение российских ученых к «политизации», что и до сих пор определяет достаточно односторонний и, на мой взгляд, ущербный подход к истории науки. Лишь с падением цензуры открылась возможность полноценного изучения экстерналистских факторов, и обнаружилось, что ученый является вовсе не небожителем, оторванным от окружающей обстановки, а таким же членом своего общества, как и все остальные. Иными словами, он так же страдал от суровых бытовых обстоятельств и его так же возмущали факты социальной несправедливости. Однако в силу своего профессионального положения историк одновременно должен был исполнять обязанности «работника идеологического фронта», и неважно, что одни отдавались этому искренне, другие с известной долей цинизма использовали это в карьерных целях, а третьи делали это спустя рукава, считая неизбежной платой за возможность заниматься любимым делом. В любом случае такой климат создавал атмосферу двоемыслия, и перед специалистом вставал вопрос о том, каким способом и в каком контексте можно было выразить свои истинные взгляды и убеждения.

Это было тем более актуально в этнической среде, чутко реагирующей на этническое соперничество и дискриминацию. Не имея возможности открыто об этом заявить, местные интеллектуалы (в англоязычной среде для этого используется термин “indigenous anthropologists”, не имеющий подходящего русского эквивалента) выработали особый метафорический язык, формально обращенный в прошлое, но фактически описывающий как ущербную современность, так и мечты о справедливом будущем. Речь шла об эзоповом языке, где образы (порой довольно фантастические) отдаленного прошлого должны были служить повышению самоуважения и выработке чувства собственного достоинства, призванными успешно преодолеть «травматическую память» и эффективно противостоять тому, что являлось или считалось дискриминацией¹. В таком контексте далекие предки выглядели уже не ушедшими

¹Недавним показательным примером служит лекция В. Новодворской о древних славянах, транслировавшаяся телеканалом «Совершенно секретно» в начале ноября 2012 г. Противопоставление романтизированного образа древних славян демонизированному образу Византии, безусловно, имело отношение не столько к ранне-средневековой истории, сколько к тому, как Новодворская видит современную политическую ситуацию в России.

в небытие «теньями прошлого», а полными сил агентами будущего, зовущими вперед к новым свершениям. Предки и связанное с ними славное прошлое становились действенными политическими символами, призванными способствовать общественному сплочению и социальной мобилизации. Иными словами, «самобытная культура» и образ прошлого являлись и являются важными политическими ресурсами, помогающими группе бороться против дискриминации или вообще того, в чем она видит несправедливость. То, что официальные советские идеологи годами трактовали как недопустимую «идеализацию истории», оказывалось вовсе не прихотью отдельных наделенных фантазией авторов, а настоящей потребностью этнических групп, нуждавшихся в психотерапии (история как «врачеванье», по М. Ферро) и расчищавших себе место под тусклым солнцем сурового режима.

Мало того, вопреки ожиданиям советских идеологов, «общая история» отнюдь не сближала людей, а, напротив, разделяла, ибо, опираясь на память о предках, они нередко оказывались по разную сторону баррикад. Даже соседние народы, казалось бы, имевшие единое происхождение и общих предков, всеми силами отказывались от такого родства и выстраивали для себя особые исторические конструкции, радикально отличавшие их от соседей. Именно в этом контексте происходила борьба за предков, находившая отражение не только на страницах профессиональных изданий, но и в школьных учебниках, музейных экспозициях, оформлении городов, новых национальных праздниках и т. д. Дело доходило до раскола этнонациональных элит, расходившихся в своем понимании предков и выбиравших для своего народа весьма различные генеалогии. В итоге, вопреки ожиданиям местных интеллектуалов, увлечение такими построениями не сплачивало, а, напротив, раскалывало народ, что наблюдалось в последние двадцать лет в Татарстане (споры между «татаристами» и «булгаристами») [Shnirelman 1996] и тридцать лет в Азербайджане (споры между «тюркистами» и «албанистами») [Шнирельман 2003].

Нетрудно заметить, что все эти процессы вызывались не столько внутренними потребностями науки – появлением новых документальных материалов или выработкой новых более тонких методов исследования, – сколько привходящими этнополитическими факторами. Поэтому адекватный анализ ситуации требовал выйти за пределы традиционной историографии и обратиться к особенностям политического контекста. Нужно было изучить, во-первых, как повороты советской внутренней политики влияли на конструирование этнонационального прошлого, во-вторых, как местные историки (и интеллектуалы в целом) на это реагировали (соглашались, сопротивлялись или выбирали эзопов язык), в-третьих, какое воздействие на них оказывали местные этнополитические условия, включая этнические травмы, обиды и представления о сущем и должном².

Если, как отмечалось выше, многие специалисты ассоциировали «альтернативную историю» с деятельностью дилетантов, то внимательное изучение историографии показывало, что все это было не чуждо и профессионалам, имевшим научные степени и звания. Следовательно, не приходилось говорить о «непрофессионализме» или отсутствии необходимых знаний и навыков. Тем самым, проблема становилась и сложнее, и интереснее. Выяснялось, что функция исторической науки не сводится к одному лишь познанию прошлого; еще важнее тот факт, что она создает язык борьбы и сопротивления и обеспечивает такую борьбу убедительными образами, способными вовлечь народные массы в политику «иными средствами». Здесь-то и обнаруживается вся сила того, что можно назвать «историческим мифом», представляющим собой конструкцию, создаваемую с помощью современных научных техноло-

² Все это и ныне остается весьма актуальным, как показала недавняя дискуссия на страницах ж. «Научная мысль Кавказа», где обе стороны примечательным образом обошли ключевые вопросы, о которых здесь говорится [См.: Виноградов, Клочков, Федорин 2012; Шеуджен 2012].

гий для противопоставления суровому и трагическому реальному миру мира идеального, к которому следует стремиться.

Выстраиванием таких образов прошлого занимались не только специалисты, но и дилетанты, и эти образы находили отражение не только в историографии, но и в школьных учебниках, исторических романах, театральных постановках, кинофильмах, монументальных памятниках, произведениях художественного творчества (живописи, скульптуре) и т. д. Сегодня это получает своеобразное отражение в «исторических реконструкциях», где проигрываются прошлые сражения, причем таким образом, что былой проигравший на этот раз становится победителем, и, тем самым, «историческая ошибка» исправляется. Все это, разумеется, имеет психотерапевтическое значение.

Показательно, что некоторые историки вступают на этот путь не в силу внешнего принуждения, а добровольно, видя в этом долг служения своему народу. При этом они нередко оказываются перед лицом неразрешимых противоречий, вытекающих из невозможности гармонично совместить научную методологию и верность историческим фактам с потребностью удовлетворить этнонациональные чувства и интересы³.

Впрочем, не все области исторической науки для этого в одинаковой мере подходят. Когда историк занимается конкретным исследованием, он в большей мере ограничен требованиями научной методологии, чем когда он пишет «национальную историю». Ведь, во-первых, ни один историк не способен учесть всю массу фактов, связанных с этой историей – никакая эрудиция этому не помогает, да и новые исследования ведут к получению новых данных, иной раз заставляющих существенно корректировать прежние представления. Во-вторых, история знает немало противоречивых фактов, и написание национальной истории требует тщательного отбора документального материала. Но именно от историка и его гражданской (политической) позиции зависит то, какие именно факты он сочтет принципиально важными, а какие второстепенными или даже недостойными упоминания. Наконец, в-третьих, любые факты требуют интерпретации, и именно здесь в наибольшей мере проявляются гражданская позиция ученого, его политические симпатии и антипатии, короче говоря, то, основания чего лежат уже за рамками «чистой науки». Поэтому «национальная история» в изображении, скажем, либерального и консервативного ученых будет выглядеть настолько своеобразно, что читатель с трудом узнает в этом одну и ту же страну. Эта оптика кардинально меняется и в том случае, когда прошлое рассматривается не из федерального центра, а из конкретного региона, в особенности, если речь идет об этнонациональном административном образовании. Иными словами, обнаруживается, что идеальный образ «непогрешимой академической исторической науки» на практике искажается интересами и эмоциями, накладывающими своеобразный отпечаток на те или иные исторические построения. Это-то и объясняет нам, почему к построению «национального мифа» оказываются иной раз причастны-

³ В свое время Жюльен Бенда счел это «предательством интеллектуалов», отказавшихся от идеалов универсального гуманизма в пользу партикулярного национализма [Бенда 2009]. Однако он писал свою книгу в 1920-х гг., когда национализм был связан с агрессивной политикой крупных империалистических государств. В течение последних полувека ситуация кардинально поменялась, и теперь речь чаще всего идет об этническом национализме малых народов или групп, до недавнего времени испытывавших колониальное угнетение, дискриминацию или подвергающихся ей и ныне. Поэтому сегодня левые склонны поддерживать такой национализм и связанную с ним политику мультикультурализма. Вместе с тем, опыт показывает, что далеко не все из таких групп, получив политическую автономию или полную независимость, отличаются покладистостью и готовы идти на компромиссы друг с другом. К сожалению, национальный эгоизм, о котором с горечью писал Бенда, сохраняет свои позиции. Поэтому современный автор вспоминает о его словах, но, используя политкорректные эвфемизмы, описывает ситуацию в виде конфликта «Культуры» (универсальной) с «культурой» (партикулярной), где «культура» служит «местом жестоких раздоров» и ей редко удается выполнять роль миротворца [См.: Иглтон 2012: 61-66].

ми не только дилетанты, но и признанные специалисты. Иными словами, вопреки уверениям некоторых историков, грань между «чистой наукой» и «историческим мифом» оказывается весьма зыбкой и легко преодолимой.

Вот почему рассматриваемая проблематика не ограничивается традиционной историографией, а охватывает более широкий круг сюжетов, связанных с социальной памятью. И именно поэтому анализу подлежит деятельность не только специалистов-историков, но интеллектуалов в целом, что постоянно вызывает недоумение и недовольство моих критиков, которым изучение деятельности дилетантов в одном ряду с учеными представляется кощунственным. Мало того, в дело вступает «защита чести мундира»: специалисты с энтузиазмом встречают работы, направленные против «лженауки», и к таким работам у них претензий нет. Но как только анализ затрагивает более глубокие пласты и более тонкие материи, связанные с деятельностью самих специалистов, это моментально вызывает жесткую негативную реакцию – посягать на «святое» нельзя. Примечательно также, что одна из моих суровых критиков, философ из Азербайджана, готова даже согласиться с тем, что существует «политизация исторической науки» и что историографы могут «манипулировать общественным мнением». Однако, признавая это, она тщательно обходит проблему политизированности исторической науки в Азербайджане. Очевидно, лишь это государство служит уникальным образчиком преданности подлинной науке и отсутствия «манипулирования общественным мнением»; очевидно, лишь в этом государстве не происходит никакой «реанимации памяти об исторических обидах и войнах», что и позволяет философу гневно обрушиваться на «чужака», позволившего себе в этом усомниться.

Почему мифологизация прошлого происходила в нашей стране, и как это было связано с советской внутренней политикой? Известно, что Советский Союз был организован по этнонациональному принципу и состоял из отдельных республик (союзных и автономных), существование которых находило легитимацию в наличии, так называемых, титульных этносов, составлявших их ядро. При этом право на свою республику мог получить только тот народ, который был способен убедительно доказать свое культурное и языковое своеобразие, причем немалую роль в этом играла отсылка к «самобытному историческому пути». Чем протяженнее был этот путь, чем большая его часть связывалась с политической самостоятельностью и выдающимися культурными достижениями предков, тем основательнее выглядели претензии на политическую автономию.

Исходно такие республики должны были стать залогом сохранения этнических языков и культур, оказывавшихся под угрозой исчезновения в условиях ускоренной модернизации. Между тем, быстро выяснилось, что, так как республики оставались гетерогенными по этническому составу, то само по себе наличие титульных народов, пусть и формально не закрепленное конституционно, вело к ситуации этнического неравенства, выражавшегося в самых разных областях, начиная от дележа государственных должностей до сферы образования, трудоустройства и организации отдыха. Создалась ситуация неформальной этнической дискриминации, порождавшая напряженность во взаимоотношениях соседних этнических групп, одни из которых всеми силами стремились сохранить приобретенный большими усилиями высокий статус, а другие боролись за повышение своего статуса.

Эта борьба велась прежде всего между местными элитами и временами выплескивалась наружу в виде самых разнообразных произведений, вызывающих к исторической памяти. При этом мало кто отваживался затрагивать недавнее трагическое прошлое (скажем, сталинские депортации народов), - такие темы были табуированы и находились под пристальным взором советской цензуры. Поэтому в поисках героики и славы местные интеллектуалы обращались к эпохе средневековья или к дореволюционному прошлому, однако и здесь их подстерегали опасности – настороженность и неприятие у советских цензоров вызывали равным образом

как воспоминания о восстаниях и освободительной борьбе местных народов против имперской власти (например, движения Шамиля), так и попытки прославления местных правителей, жестоко расправлявшихся с соседними народами (например, Кенесары-хан). Даже обращение к местным героическим эпосам могло вызывать у власти тревогу, за которой следовало обвинение в прославлении «феодално-байских обычаев», имевшее тяжелые последствия для тех, кто подвергался такой критике. В то же время легитимация республик требовала непременно обращения к прошлому, ибо каждый титульный народ обязан был иметь свою самобытную историю, доказывавшую его право на политическую субъектность в рамках установленных территориальных границ.

В таких условиях каждый местный историк, занимавшийся написанием истории своего народа, оказывался в положении солдата на минном поле – любой неосторожный шаг мог стать последним. И вовсе не случайно регулярно прокатывавшиеся по стране кампании борьбы с национализмом с железной последовательностью ударяли по историкам и художественной интеллигенции, обвинявшимся в «идеализации прошлого» и «прославлении [неправильных] предков». Примечательно, что любая такая кампания вела к новому витку переписывания истории и, нередко, к поиску новых предков, в результате чего в местной историографии можно обнаружить несколько разных образов предков, популярных в те или иные периоды советской истории. Тем не менее, каждое новое поколение историков с удвоенной энергией вновь и вновь бросалось на эти поиски, до мельчайших деталей повторяя путь своих незадачливых предшественников.

Все это составляло проблему, заслуживающую тщательного анализа, и, если в советские годы такое исследование представлялось нереальным, то в новых демократических условиях для него не только открылись все возможности, но происходившие на наших глазах процессы конструирования самых разнообразных версий прошлого создали уникальные условия для досконального их изучения во всей их сложности, включая социально-политический контекст. Иными словами, вырисовалось поле, в рамках которого надлежало проводить такую работу. К этому времени оно уже получило в западной науке такие определения как «социальная память», «полезное прошлое», «политика исторического знания». Правда, некоторые западные историки проводили жесткую границу между тем, чем занимаются специалисты, и деятельностью представителей околонучных или ненаучных кругов. Кроме того, под «социальной памятью» нередко понимаются устные воспоминания людей, глубина которых ограничивается одним-двумя поколениями («устная история»). Однако в наших условиях такие границы размывались и бесследно исчезали, ибо, как уже отмечалось, прошлое имело не только и не столько познавательную функцию, сколько было призвано обслуживать идеологический заказ и использовалось инструментально. Поэтому проводимые мною исследования имели также прямое отношение к таким областям знания как «социальная история науки» и «социальная критика науки». На Западе все это продуктивно изучается вот уже в течение нескольких десятилетий, но у нас остается мало известным и нередко встречает непонимание. Этому прежде всего противостоят специалисты, преданные своему делу и потому не допускающие даже мысли о том, что на них самих или их коллег могут оказывать влияние какие-то привходящие факторы, лежащие за пределами научной проблематики.

Однако не стоит понимать упомянутый выше идеологический заказ упрощенно, как это делают некоторые мои критики. Лишь частично речь шла о прямых указаниях партийно-правительственных органов, но нередко импульс поступал из самой окружающей среды в связи с какими-либо животрепещущими событиями. Ученый ощущал его своим гражданским чувством и, откликаясь на такой вызов, определял соответствующую ему тематику исследования. Речь шла об этнонациональных эмоциях, которым так или иначе поддаются даже специалисты. Это-то и составляло искомый фактор, ставший стержнем моих научных поисков. Вот

почему я, будучи этнологом (или культурным антропологом, в западном понимании этого термина), занялся историческим дискурсом, что вызывает раздражение и неприятие у моих критиков. Здесь мне следует упомянуть о моем историческом, археологическом и этнографическом образовании, а также многолетнем опыте работы во всех этих областях. Надеюсь, это будет интересно наиболее агрессивным из моих критиков, представленными бывшими советскими философами и журналистами-идеологами, ставшими в одночасье «политологами» или «историками». Должен также отметить, что рассматриваемые здесь исследования мне никто никогда не заказывал, - я пришел к этому самостоятельно, размышляя о судьбах страны, в которой я родился и живу.

Такое исследование по необходимости имеет междисциплинарный характер: с одной стороны, объектом изучения служила профессиональная деятельность историков (а также археологов, этнологов и, отчасти, лингвистов), а также непрофессиональная – других интеллектуалов, озабоченных реконструкцией давнего прошлого. Но с другой, следовало проанализировать, в какой мере и каким образом такая реконструкция находилась под воздействием этнической (этнополитической) среды и отвечала ее чаяниям. И если в советские годы связи между построениями местных историков и «этническими идеями» приходилось так или иначе скрывать, то с падением советской цензуры выражение этнических эмоций получило долгожданную свободу, и они полностью (конечно, имелись и редкие исключения, которые не меняют общей картины) овладели местной историографией. Тогда немало специалистов открыто участвовали в национальных движениях и в выработке их идеологических программ, используя при этом весь свой профессионализм. Мало того, теперь некоторые реконструкции прошлого стали составлять костяк местных этноидеологий, направленных на раздувание межэтнической розни и этническую конфронтацию, что в конце 1980-х – первой половине 1990-х гг. выглядело весьма угрожающе и неоднократно приводило к серьезным конфликтам вплоть до кровавых войн, охвативших тогда некоторые регионы Кавказа. Иными словами, изучение «политики прошлого» или «войн памяти» оказалось весьма актуальным - это-то и вызывает раздражение у ряда моих критиков, которые предпочли бы, чтобы эта болезненная тема оставалась за рамками обсуждения.

Между тем, в таком плане образ прошлого никем и никогда в отечественной науке не изучался. Поэтому и круг источников, и проблематику, и подходы к их изучению пришлось разрабатывать практически с нуля. Об источниках уже упоминалось – они охватывали как объективированную материализованную память, так и память в действии. К разряду первой относились историография, школьные учебники, публикации в СМИ, выступления политиков, программы политических партий, музеи, кинофильмы, театральные постановки, исторические романы и научная фантастика, монументальные памятники, произведения художественного творчества (живопись, скульптуру). А вторая охватывала государственные и народные праздники, чествование юбилеев исторических деятелей, массовое отмечаемые дат (включая юбилеи городов и республик), некоторые публичные ритуалы. Немалый интерес для этой темы представляет и топонимическая политика – переименования республик, городов, улиц и площадей, а также «борьба памятников» (снос одних и возведение других). Отдельную проблему представляет этноцид, включающий попытки либо полностью уничтожить культурное и историческое наследие этнического меньшинства или конкурирующей этнической группы, либо присвоить его, выдав за наследие своих собственных предков.

Кроме того, следовало проанализировать биографии интеллектуалов, связанных с производством социальной памяти, обращая внимание на степень их вовлеченности в националистический дискурс и перечисленные выше историко-культурные практики, связанные с национализмом. Все это нужно было рассмотреть на фоне политической динамики, чтобы

понять, как именно этнополитика (национальная политика) влияет на особенности социальной памяти. Далее, анализ самых разных видов и форм социальной памяти потребовал выявить ключевые события, вокруг которых она организуется. Ведь прошлое охватывает безграничный набор всевозможных фактов, и даже профессиональный историк неспособен учесть их во всей их полноте. Что же касается широкой общественности, то она оперирует несравненно более скудным репертуаром, включающим лишь самые яркие, самые важные имена исторических деятелей и события прошлого. Именно их обычно вводят в свои вопросы социологи. Такие ключевые моменты («места памяти», по меткому выражению П. Нора) находят отражение в массовых праздниках и запечатлеваются в самых разных видах социальной памяти.

Вместе с тем, они не отличаются постоянством, и временами одни из них покидают сцену, другие, напротив, возвращаются из небытия. Это происходит в результате важных социально-политических изменений, при смене режимов, с изменением политического курса и т. д. Следовательно, проследить этот процесс можно, лишь изучая достаточно протяженный период времени. Поэтому-то мне и показалось недостаточным ограничиться анализом процессов, начавшихся в конце 1980-х гг. Гораздо продуктивнее было взять за точку отсчета рубеж XIX-XX вв., когда в России отмечалось зарождение самых разных этнических национализмов с их жадным интересом к своему прошлому. Вот почему мои книги о социальной памяти охватывают примерно столетие (с некоторой вариативностью в зависимости от конкретных этнических групп) и неизменно начинаются с того момента, когда те или иные местные интеллектуалы обращаются к изучению прошлого своего народа. И речь идет не о любом историческом описании (исторические хроники и летописи, как известно, составлялись и ранее), а о научных подходах, которые начали складываться в регионах России с упомянутого выше рубежа.

Наконец, исследование не должно упустить из виду проблему амнезии. Речь идет о сознательной «забывчивости», когда определенные события или факты, создававшие дискомфорт, вычеркиваются из памяти. Это может быть скорбное событие, травма, поступок, вызывающий стыд, или поведение, идущее вразрез с установившимся политическим порядком, в любом случае – то, что следует скрывать от окружающих. Важно, что такая амнезия не бывает вечной: с изменением окружающей обстановки память может вернуться, причем иной раз то, что вчера следовало тщательно скрывать, сегодня приветствуется или даже получает вознаграждение.

Итак, программа исследований обрела ясность. Оставалось выбрать подходящую для него этническую среду. Я понимал, что придется иметь дело с острыми вопросами, с неожиданной и не всегда приятной правдой, в особенности, именно потому, что специалистам трудно будет согласиться с тем, что их научная деятельность подвержена воздействию каких-то внешних социальных и политических факторов. Ведь нередко они искренне верят или хотят убедить себя в том, что бескорыстно служат «чистой науке». Здесь, разумеется, необходимо сделать оговорку, что мои выводы имеют статистический характер; они намечают лишь общую тенденцию, но отдельные ученые могут не укладываться в рассматриваемые рамки – ведь индивидуальная вариативность всегда дает о себе знать.

В любом случае было ясно, что следует проводить сравнительное исследование, охватывающее две или несколько соседних этнических групп, прослеживая их реакцию на одни и те же затрагивающие их события. Сразу отвечу моим критикам, подозревающим меня в «аллергии» по отношению к какому-либо конкретному народу или его интеллектуалам. У меня нет предубежденности против каких-либо народов, иначе я вряд ли бы выбрал ту профессию, которой я по сей день занимаюсь. В своей жизни мне посчастливилось поработать в разных районах мира, познакомиться с самыми разными культурами, – вот почему меня бес-

покоит нарастающая межэтническая и межконфессиональная нетерпимость, иной раз камуфлирующаяся лозунгами «патриотизма». Именно поэтому наибольший интерес у меня вызывали регионы, где наблюдалась «борьба за прошлое», ведущая к росту межэтнической напряженности. Ведь, как уже отмечалось, такая борьба составляла важный компонент идеологии конфронтации, и невозможно было ни понять суть и ход конфликта, ни вести поиск выхода из него, не обращаясь к таким сюжетам. Поэтому для исследования я выбрал два обширных региона, где в начале 1990-х гг. разворачивались тревожные события, – где-то в воздухе уже пахло войной, а где-то она уже начала свою смертоносную жатву. Один регион был представлен Средним Поволжьем, где тогда нарастал вал национальных движений с требованиями суверенитета, что, к счастью, обошлось без жертв. Другим регионом стал Кавказ с его необычайной этнополитической сложностью и локальными войнами. Ряд работ я посвятил и «поиску предков» в современной Центральной Азии. Кроме того, меня интересовали русский радикальный национализм и его представления о далеком прошлом.

Всеми этими сюжетами я начал заниматься еще в первой половине 1990-х гг. и уже в 90-е годы опубликовал немало посвященных им исследований – все они доступны и при желании каждый может с ними ознакомиться. Отмечаю это специально для моих критиков, которым, прежде чем судить о моих исследованиях, следовало бы вначале познакомиться хотя бы с тем, что было мною написано в те годы. Я уже не говорю о нескольких книгах, вышедших в течение последних десяти лет, которые критики осилили лишь выборочно. Последнее требует особых комментариев, к которым я вернусь ниже.

Избранный мною сравнительный метод исследования ставил своей целью изучение динамики конструирования образов прошлого в соседних регионах для того, чтобы, во-первых, выявить некоторые общие тенденции и их причины, а во-вторых, наметить точки конфронтации и понять, почему в соседних республиках одни и те же факты, события или эпохи получают весьма различную, если не диаметрально противоположную, трактовку. Первое имело прямое отношение к национальной политике союзного центра, активно вмешивавшегося в «производство прошлого», а второе было следствием этнической конкуренции или этнической дискриминации, окрашивавшей взаимоотношения доминирующего большинства и этнического меньшинства. Было бы неверно винить в создании мифологизированных образов прошлого одних лишь интеллектуалов, и я вовсе не ставил себе этой цели (отмечаю специально для моих суровых критиков). Главным был структурный фактор – опора федерального устройства не на гражданский, а на этнический принцип, сделавшая последний едва ли не определяющим в жизни людей, в особенности, в отдельных республиках. Неутомимый поиск достойных предков, способных помочь в преодолении травматического сознания, стал прямым следствием такой ситуации. В этом и заключался один из важнейших выводов моих исследований.

Другим не менее важным выводом было обнаружение прямой связи между серьезными политическими поворотами и новыми витками «борьбы за предков» и переписывания истории. Такими рубежами мне видятся следующие: либеральные реформы Александра II и националистическая политика Александра III, открывшие дорогу русскому национализму и придавшие ему массовость (вторая половина XIX в.); ответ этому на местах, где началось формирование своих национализмов (рубеж XIX-XX в. и, в особенности, предреволюционные годы); недолгие годы существования независимых демократических республик в Закавказье; 1920-е гг., когда в условиях формирования советской федерации отдельные этнические группы вели активную борьбу за получение политического статуса и территориальных автономий; рубеж 1920-1930-х гг., ознаменованный кампанией «борьбы с национализмом»; окончательное сложение федерации, закрепленное Конституцией 1936 г. и потребовавшее написания историй формально провозглашенных республик; война 1941-1945 гг., идеология

которой требовала обращения к образам «героических предков»; вторая половина 1940-х – начало 1950-х гг., окрашенные депортацией ряда народов и новыми кампаниями «борьбы с национализмом»; годы «оттепели» с ее возвращением депортированных и послаблениями на идеологическом фронте, вновь открывшими клапан для выражения этнонациональных чувств; формирование новых национализмов и борьба с ними в 1970-х – начале 1980-х гг.; демократизация и гласность эпохи перестройки, сопровождавшиеся развитием этнонациональных движений в самых разных регионах СССР; наконец, постсоветская Россия с ее собственной региональной политикой, прошедшей два этапа – 1990-е гг. и первое десятилетие XXI в. Во все периоды прошлое так или иначе находилось под контролем власти, но, если в советские годы этот контроль осуществлялся центром, причем в довольно жесткой форме, то в постсоветское время центр утратил свою прежнюю силу, и сегодня контроль находится в руках республиканских властей, которые иной раз мастерски разыгрывают «войны памяти». Но именно этого мои критики по понятным причинам никогда не признают.

Каждый из выделенных периодов был отмечен своей собственной «политикой прошлого», каждый (или почти каждый) из них требовал своего образа предков, хотя, разумеется, в конкретных республиках этот процесс имел свою специфику – иной раз прежние предки заменялись на новых, а иной раз предки оставались прежними, но получали новый облик.

Почему это было возможно? Сегодня никого не удивит утверждение о том, что каждый народ имеет гетерогенное происхождение, у каждого имеется по несколько исторических предков – одни снабдили его языком, другие – культурой, третьи – физическими особенностями. Однако именно множественность предков открывает возможность выбора, когда в дело вступают политика и идеология (или этнические эмоции). Иногда особую привлекательность представляют предки-завоеватели, которым приписывают культуротворческую миссию (такой образ обычно сопутствует колониальному менталитету), а иногда – предки-автохтоны, образ которых важен для предъявления исторических прав на территорию. Именно с этим выбором мы и имеем дело, когда местная политика требует предъявления «полезных предков». Когда-то таким предкам надлежало отличаться «расовой чистотой» или «чистотой крови». Но сегодня такой подход однозначно считается «расистским». Поэтому теперь споры обычно ведутся о другом – какие из предков были более многочисленными и какие сделали наибольший вклад в формирование современного народа. Но так как решение таких проблем зависит от обращения к весьма скудным и допускающим неоднозначную интерпретацию данным археологии, лингвистики и этнографии, то никакого четкого ответа на подобные вопросы наука дать не может, а те, кто все же рискуют давать такой ответ, основываются на вере и этнонациональных эмоциях, а не на рациональном знании.

Это-то и ведет к бесконечной и безнадежной борьбе за предков, в которой, к сожалению, нередко участвуют и специалисты. В этой связи показательно, что в условиях неопределенности, связанной с недостатком наших знаний, некоторые специалисты выбирают те интерпретации или тех предков, которых требуют этнические эмоции. В еще большей мере это, разумеется, свойственно неспециалистам, увлеченным историей своего народа. Прошлое соседних народов их заботит мало; они лишь с пристрастием следят за тем, чтобы те не покушались на то, что они считают своим собственным историческим наследием. О каком-либо общем наследии здесь не вспоминают – все распределено и поделено. И, вопреки надеждам отдельных миротворцев, не помогает даже апелляция к общим предкам – ведь в условиях этнической напряженности, тем более, этнического конфликта, ни о каких общих предках не может быть и речи. Так и возникают курьезные ситуации, когда отдельные интеллектуалы находят для своего народа прямых «палеолитических предков».

Сегодня такие коллизии можно обнаружить во многих регионах постсоветского пространства, а не только в тех, которые составляли предмет моих исследований. Все это гово-

рит о неких общих процессах и об общих болезнях, охвативших постсоветских интеллектуалов (повторяю, в очень многих регионах, а не в каких-то якобы специально избранных мною республиках. Поэтому о моей «аллергии» говорить не приходится). Именно этому я и посвятил несколько книг, полагая, что изложенные в них материалы и выводы заставят людей (в особенности, специалистов) задуматься и приведут к пересмотру каких-то существенных установок, включая некоторые важные научные парадигмы. Получилось иначе.

Как показывают рассуждения моих критиков и многочисленные обсуждения на форумах во всемирной паутине, мало кто удосужился прочесть хотя бы одну из книг от начала до конца⁴. Читали в основном то, что у меня написано об их собственной этнической группе и об их соседях, которые вызывают у них подозрительность, если не враждебность. При этом написанное об их соседях местным интеллектуалам нравилось, а написанное о них самих категорически отвергалось. Иными словами, именно соседей они были готовы винить в «манипуляциях» и «искажениях истории», тогда как свои собственные исторические построения вызывали у них восторг, казались им абсолютно истинными и непогрешимыми. Дело доходило до того, что отдельные главы из моих книг (без моего на то согласия!) вывешивались в Интернете, причем те главы, которые были посвящены именно соседям. В итоге взаимные нападки только усилились, но в «разжигании вражды» критики обвинили меня, а вовсе не тех, кто занимался этой самодеятельностью. Правда, в мае 2007 г. две местные газеты в Северной Осетии и Ингушетии получили предупреждение от Росохранкультуры за «экстремистскую деятельность». Но это не остановило известного осетинского «профессионального патриота» от публикации отдельной брошюры своих инсинуаций, за которые газета едва не попала под суд.

Критикам не понравилось и то, что я, по их словам, попытался взять на себя роль «третьего судьи». Какого-либо вмешательства извне они категорически не приемлют, но и сами ничего не делают для того, чтобы уладить свои разногласия. Мало того, «чужак» в этом случае послужил в роли громоотвода, и на него набросились все, хотя и это не привело к обещавкавказскому согласию. Ведь каждый из критиков встал на защиту только «своих». Ни один из них не заметил или не пожелал заметить, что в моих книгах поднимаются и анализируются проблемы, касающиеся их всех. Поэтому «войны памяти» продолжаются, и масса энергии, которую можно было бы потратить на полезную творческую деятельность, улетает в трубу.

Все это, разумеется, не радует и не оставляет места для надежд на то, что в обозримом будущем ситуация сколько-нибудь существенно улучшится. Ведь даже если специалисты придут к какому-либо устраивающему всех консенсусу и подпишут «мирный договор», соблазн использовать прошлое в политических и идеологических целях не оставит политиков и творческую интеллигенцию. Мало того, даже идеально написанное историком исследование (а такое трудно представить) поддается интерпретации, над которой он уже не властен. Поэтому дело заключается даже не в профессионализме исследователей, не в соблюдении ими известной осторожности в изложении своих идей, а в общественном климате, влияющем на восприятие и использование научных знаний. Люди, живущие в мифе (миф здесь понимается в научном смысле как мировоззрение, призванное упорядочить знания об окружающей действительности, причем в рассматриваемых случаях – с узко этнической точки зрения), не способны выйти за возведенные им строгие границы и просто не воспринимают новую информацию, резко расходящуюся с той, что навязывается мифом. Своим несоответствием

⁴ С той же проблемой встретился и Т. де Ваал. Поэтому во введении к русскоязычному изданию своей книги он специально оговорил: «Я обращаюсь ко всем читателям с единственной просьбой: не заниматься выборочным цитированием отдельных отрывков из книги в угоду собственным политическим приоритетам. Книга должна восприниматься как единое целое, только тогда она имеет ценность». [См.: Ваал 2005].

привычной «истине» она их раздражает. Они даже не способны осознать новую постановку проблемы. Так, многие мои критики пеняют мне на то, что я якобы «неверно изложил историю» тех или иных народов, и удивляются тому, что я не обратился к работам средневековым авторам. Один читатель даже выразил недоумение в связи с тем, что написанное мною расходится со статьей из энциклопедии. Ему не пришло в голову, что энциклопедические статьи тоже пишутся с определенных позиций и что, если бы он обратился к энциклопедии, написанной в другие годы, он обнаружил бы там иное изложение той же самой проблемы.

Прочтя мои книги выборочно и не ознакомившись с введением и заключением, мои критики так и не поняли, что я ни в коей мере не претендовал на написание истории народов. Меня занимали **образы прошлого и предков**, создававшиеся в те или иные эпохи, а также причины, по которым эти образы формировались тем или иным образом. Об этом достаточно было сказано выше. По этим же причинам меня интересовала не «истина» о далеком прошлом, а суждения о ней отдельных интеллектуалов - как ученых, так и тех, кто просто интересовался прошлым. И, прежде всего, то, как эти суждения соотносились с особенностями окружающей обстановки. Что же касается научных знаний об этом прошлом, то в этом я предпочитаю опираться на признанные в науке авторитеты, к чьим суждениям прислушиваются профессионалы. И если в число таких авторитетов многие местные ученые не попадают, моей вины в том нет.

Наконец, что сегодня могут сделать специалисты, чтобы ситуация изменилась к лучшему? Мне представляется, что следует кардинально изменить наш подход к древности, перестав рассматривать ее сквозь «этнические очки», так как именно последнее порождает мифологизацию далекого прошлого. Ведь итальянцы не выводят себя напрямую из Римской империи, а греки – от античных греков. Современные французы тоже избегают проводить непрерывную линию преемственности между собой и галлами, хотя в прошлом это пользовалось у них популярностью. И дело здесь не только в чувстве гражданской ответственности и осторожности, а, во-первых, как отмечалось выше, в гетерогенном составе современных народов и множественности предков, а во-вторых, в том, что в первобытности и раннем средневековье отсутствовали этносы в том смысле, в котором они сегодня понимаются, т. е. как культурные и языковые общности.

Изучение традиционных народов показывает, что там в основе идентичности лежали прежде всего социальные, а не культурные или языковые факторы. Поэтому ставшие популярными и поддержанные немалым числом ученых расхожие представления о, скажем, скифах, аланах, гуннах, древних тюрках, славянах и пр. как об отдельных «этнусах» вряд ли соответствуют реальности. Все это были конгломераты племен, включавшие самые разные компоненты, и их члены вряд ли ощущали свою общность, даже если говорили на одном языке. Поэтому следует отказаться от представлений об «этнусах» в первобытности и раннем средневековье, и вместо этногенеза следует говорить о культурогенезе и лингвогенезе, отчетливо представляя себе, что речь идет об искусственно сконструированных общностях, лишенных социальности. Если специалисты с этим согласятся, отпадет необходимость искать «этнических предков» в глубинах первобытности.

Бенда Ж. 2009. *Предательство интеллектуалов*. - М.: ИРИСЭН.

Ваал Т. де. 2005. *Черный сад. Армения и Азербайджан между миром и войной*. - М.: Текст.

Виноградов Б. В., Клочков О. Б., Федорин В. Е. 2012. Основные тенденции и направления развития «национальной историографии» в контексте исследования проблем

российско-горского взаимодействия и анализа современной этнополитической ситуации на Северном Кавказе. - *Научная мысль Кавказа*. - № 1. - С. 73-78.

Иглтон Т. 2012. *Идея культуры*. - М.: ВШЭ.

Шеуджен Э. А. 2012. О «национальной историографии», «национальных историках», «своей» истории и «историописаниях». - *Научная мысль Кавказа*. - № 2. - С. 90-98.

Шнирельман В. А. 2003. *Войны памяти: мифы, идентичность и политика в Закавказье*. - М.: ИКЦ Академкнига.

Shnirelman V. A. 1996. *Who gets the past? Competition for ancestors among non-Russian intellectuals in Russia*. - Washington D. C., Baltimore & London: Woodrow Wilson Center Press and Johns Hopkins University Press.